
ТИХИЙ ОРДЕН
Его якорь
КНИГА ПЕРВАЯ
НАДЕЖДА ЧАРОДЕЙСКАЯ
ТЁМНОЕ ФЭНТЕЗИ О ЯКОРЯХ ПЕЛЕНЫ

Надежда Чародейская

Тихий орден. Его якорь

«Автор»
2026

Чародейская Н.

Тихий орден. Его якорь / Н. Чародейская — «Автор», 2026

Вейл стоит двести лет, и двести лет в его подвале сидит на цепи то, что город называет Пеленой. Каждые тридцать дней Орден присылает к нему девушку — якорь, который держит его в узде. Восемь уже мертвы. Имена выцарапаны на стене.Вира Соль родилась после Третьего Разрыва, выросла в приграничье и умеет только одно — считать, сколько осталось. На взвешивании её стрелка не показывает ни огня, ни дара, ничего. В Академию Тихого Ордена её берут из милости: кому-то надо мыть полы в дортуаре.А потом магистр Кейрен говорит: «Ладонь. Правую. Целиком». И Вира понимает, что её взяли сюда не мыть полы.Он не чудовище. Он узник, которому двести лет, и единственный в Вейле, кто говорит с ней не как с расходным материалом. У него двенадцать окон, за которыми ничего нет, и правило: два — когда можешь дотянуться, три — когда видишь.Тёмное романтическое фэнтези о девятом якоре, восьми именах и цене, которую платят не деньгами.

© Чародейская Н., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Взвешивание 5
Глава 2. Тот, кто внизу 8
Глава 3. Правила на стене 10
Документ 1. Объявление о наборе 12
Глава 4. Послушницы 13
Интерлюдия. Эдвин Кейл 15
Глава 5. Три шага 16
Глава 6. Осмотр 18
Глава 7. Крик в третью ночь 20
Глава 8. Дверь наверх 22
Глава 9. Дортуар 24
Глава 10. Дорога в Вейл. Первые семь дней 26
Глава 11. Орден требует ответа 29
Часть II. Три шага 31
Глава 12. Учиться по-настоящему 32
Глава 13. Первая чаша. Цепи и мел 34
Документ 3. Страница учебника 37
Глава 14. Ночной звон. Провиант 38
Между главами. Столовая 41
Глава 15. Гвозди. Тайра врёт 43
Интерлюдия. Тайра 46
Глава 16. Смена. Первое окно 47
Конец ознакомительного фрагмента. 48

Надежда Чародейская
Тихий орден. Его якорь

Глава 1. Взвешивание

В Вейле пахнет пеплом даже весной.

Говорят, до Пелены здесь цвели яблони. Я не верю в «до». Мне восемнадцать, я родилась через два года после Третьего Разрыва, и весь мой мир умещается в две вещи: серая стена до неба и бронзовые весы во дворе Академии Тихого Ордена.

Сегодня на этих весах взвешивают нас.

— Соль! Вира Соль, приграничье, сирота, безродная!

Писарь выкрикивает моё имя так, будто оно оставляет пятна на языке. Я выхожу из толпы, и толпа расступается слишком быстро — так расступаются перед чумными.

Двор залит утренним светом. Весы стоят в самом центре, на плите из чёрного стекла: две бронзовые чаши на цепях, между ними стрелка выше меня ростом. Слева на чаши кладут грузы, справа встаёт человек. Стрелка показывает, сколько в тебе Мрака, — и сколько ты ещё протянешь, прежде чем Пелена заберёт своё.

— Восемь баллов и выше — Тихие, — бубнит писарь заученное. — Пять и выше — Орден. Меньше трёх — на выход.

Меньше трёх — на выход. Я знаю эту фразу наизусть: я повторяла её всю дорогу, пока тряслась в обозе от приграничья, прижав к животу деревянную ложку — единственное, что осталось от дома.

Передо мной худая девочка с огнём на пальцах. Она поднимает руку, и пламя идёт вверх ровным столбом. Стрелка дёргается к пяти с половиной. Двор взрывается аплодисментами.

— Кейл! Эдвин Кейл, торговый квартал!

Парень кладёт ладонь на чашу, и стрелка уходит к семи. Наставники переглядываются. Кто-то в серой мантии делает пометку — семёрка это уже почти приговор: таким, как он, до конца жизни держать Пелену в узде, а потом умирать на стене.

Я смотрю на свои руки. Под ногтями — дорожная грязь. Ни искры, ни блика, ни тепла.

— Соль!

Писарь уже злится. Я поднимаюсь на плиту. Камень ледяной даже сквозь подошвы.

— Ладонь, — говорит наставник. Он не смотрит мне в лицо. — Правую. Целиком.

Я кладу руку в чашу.

Ничего.

Стрелка стоит, как приклеенная, на нижней отметке. В толпе кто-то смеётся — коротко, зло, облегчённо: значит, не последняя.

— Ноль, — говорит наставник. — Пустая. Следующий.

Я не двигаюсь.

— Следующий, — повторяет он громче.

— Дайте мне ещё раз, — говорю я.

Тишина. Восемнадцать лет меня учили не просить. В приграничье просьба — это долг, а долг отдают кровью. Но я пришла сюда не для того, чтобы вернуться в обоз.

— Ты слышала, что…

— Дайте мне ещё раз, — повторяю я. — Пожалуйста.

Наставник вздыхает так, будто я украла у него минуту жизни, и кивает.

Я сжимаю кулак в чаше. Слишком сильно — ноготь ломается о бронзовый край, и на металле остаётся капля.

Капля скатывается по чаше вниз. Тихо.

И весы кричат.

Не звон, не скрежет — крик, высокий и человеческий, словно в бронзе сидит кто-то живой и ему выкручивают суставы. Стрелка срывается с нуля и летит вправо, за пятёрку, за семёрку, за десятку — туда, где на шкале нет цифр, только трещина. Цепь лопается. Правая чаша падает на плиту, и чёрное стекло расходится под ней паутиной.

Кто-то из абитуриенток визжит. Писарь роняет перо.

Наставник смотрит на мою руку так, как смотрят на заряженный арбалет, который вдруг повернулся к тебе.

— Что… — начинает он и не заканчивает.

— Уберите её со двора, — говорит другой голос. Ровный. Скучающий.

Из тени арки выходит женщина в чёрной мантии с серебряной нитью по подолу. Магистр Кейрен, надзиратель Тихого крыла. Я знаю её имя, как знаю имя чумы: её лицо печатают на плакатах «Орден защищает вас».

Она подходит ко мне вплотную. От неё пахнет лавандой и морозом.

— Как тебя зовут? — спрашивает она.

— Вира Соль.

— Вира, — повторяет она, будто пробует слово на зуб. — Скажи мне, Вира Соль, ты слышала это?

— Что?

— Крик. — Она наклоняет голову. — Ты слышала, как кричали весы?

Я могла бы соврать. В приграничье врут всегда — это дешевле, чем правда. Но я слышала. Я слышала не только крик. Я слышала, как за стеной, за три квартала отсюда, что-то огромное повернулось во сне и довольно вздохнуло.

— Слышала, — говорю я.

Магистр Кейрен улыбается. Впервые за всё утро кто-то во дворе улыбается мне — и от этой улыбки у меня холодеет затылок.

— Прекрасно, — говорит она. — Тогда пойдём. Для тебя найдётся комната.

— Я же пустая, — говорю я. — Мне сказали, на выход.

— На выход ходят живые, — отвечает она и берёт меня за запястье. — А ты, девочка, уже нет.

Мы идём через двор, и толпа расступается перед нами ещё быстрее, чем перед чумными. Я оборачиваюсь. На плите из чёрного стекла, там, где треснула чаша, кто-то из наставников уже сметает бронзовые осколки метлой — торопливо, будто заметает кровь.

Академия остаётся позади. Мы входим в башню, где нет окон, и начинаем спускаться. Ступени узкие, винтовые, по стенам — копоть от факелов, которую не счищали лет сто. С каждым витком воздух становится тяжелее и холоднее, и в нём появляется запах, которого не должно быть в подвале: запах весенней земли и мокрой коры.

На двадцатом витке я понимаю, что не слышу своих шагов. Словно кто-то внизу слушает так внимательно, что звук моих подошв просто не решается родиться.

Магистр Кейрен останавливается перед железной дверью. На двери нет ручки — только круг из чёрного стекла, как на весах.

— Правила простые, — говорит она, не оборачиваясь. — Ты будешь жить здесь год. Ты будешь делать то, что тебе скажут. Ты не будешь задавать вопросов о том, что увидишь. Через год — если доживёшь — Орден даст тебе всё, что ты попросишь.

— А если я откажусь? — спрашиваю я.

— Тогда мы откроем дверь наверху и выпустим тебя в приграничье. — Она наконец поворачивается. — Только Пелена уже знает твой запах, Вира Соль. Ты умрёшь через три дня и умрёшь плохо. Так что выбор у тебя, прямо скажем, символический.

Она прижимает ладонь к чёрному кругу. Стекло теплеет, по нему идут трещины — и дверь отходит внутрь.

Из темноты тянет холодом, землёй и чем-то ещё — железом.

И голос. Низкий, спокойный, будто человек внизу ждал меня не час, а весь год:

— Наконец-то. Я уж думал, Совет пожалеет.

Глава 2. Тот, кто внизу

Комната огромная, как приграничный храм, и пустая, как приграничный храм после Разрыва.

Ни мебели, ни света, кроме одного окна под потолком — узкой полосы, через которую на пол падает серый луч. В луче пыль кружится медленно-медленно, будто в воде.

Он сидит в центре. Не на стуле, не на полу — просто сидит, скрестив ноги, и от его силуэта в сером луче не остаётся тени. Тени у него нет вообще.

— Ближе, — говорит он.

Я остаюсь на пороге.

— Достаточно, — говорит магистр Кейрен за моей спиной. — Дарроу, это она. Вира Соль, приграничье. Весы показали трещину.

Пауза.

— Трещину, — повторяет он с интересом. — Значит, не соврали.

Он поднимает голову, и я наконец вижу лицо.

Он молод. Это первое, что бьёт по глазам: я ждала увидеть чудовище, а увидела мужчину лет двадцати семи — с острым подбородком, тёмными волосами, падающими на глаза, и лицом человека, которому давно не о чем разговаривать с миром. Второе, что бьёт, — цепи. Чёрные, стеклянные, они входят прямо в пол и обвивают его запястья, лодыжки, шею. Толщиной в мою руку, с острыми гранями, и там, где они касаются кожи, кожа выглядит обмороженной.

— Кто из нас испугался сильнее? — спрашивает он, глядя на меня. — Ты или твоя печень?

— Я не боюсь, — говорю я.

— Врёшь ты плохо. — Он улыбается одним уголком рта. — Это хорошо. Значит, ещё не учили.

Магистр Кейрен заходит в комнату первой, и цепи у его ног дёргаются, как собаки на коротком поводке.

— Рэйн Дарроу, — говорит она ровно, как читают приговор. — Тихий. Девятый по силе в Ордене и первый по числу убитых. Год назад его тень вырезала квартал Гальс — сто двенадцать человек, включая трёх наставников и его собственный якорь. С тех пор он в этой комнате, потому что без якоря не может выйти: Пелена забирает его по капле, а когда заберёт — заберёт весь город.

Она оборачивается ко мне.

— А ты, девочка, — его якорь. Держишь его в узде своим сердцем. Так устроен Орден: Тихие не чувствуют границы, поэтому границей становится кто-то живой.

— У меня нет дара, — говорю я.

— Дару здесь не место, — говорит Кейрен. — Здесь нужно быть тем, за кого можно держаться. Восемь девушек до тебя были такими.

— Где они?

Она молчит ровно столько, чтобы я всё поняла.

— Восемь, — повторяю я. — За год?

— За семь лет, — говорит Дарроу из своего серого луча. — Я не такой уж расторопный.

— Молчи, — бросает Кейрен, и цепи дёргаются снова.

Она подходит ко мне и говорит тихо, только для меня:

— Слушай внимательно. Три шага. Ты живёшь в этой комнате, но между вами всегда должно быть три шага, и ты будешь отходить первой. Ты подаёшь ему еду. Ты обрезаешь ему волосы раз в неделю, потому что цепи не дают ему самому держать ножницы. Ты говоришь с

ним, потому что голос якоря — это тоже удержание. И ты никогда не позволяешь ему дотронуться до тебя.

— А если позволю?

Кейрен смотрит на меня долго.

— Тогда ты станешь не якорем, а его.

Она выходит. Железная дверь закрывается без стука — становится на место, словно её никогда не открывали.

Мы остаёмся вдвоём.

Я стою на пороге, в шаге от тьмы. Он сидит в сером луче и смотрит на меня без всякого выражения, так смотрят на погоду.

— Ты можешь сесть, — говорит он. — Кровать за тобой, у стены. Она от меня в семи шагах, я проверял.

Я не оборачиваюсь.

— Ты ведь не человек, — говорю я.

— Я человек, — спокойно отвечает он. — Просто во мне ещё один.

— Пелена?

— Пелена, — соглашается он. — Ей не всё равно, кто я. Ей важно, чтобы я был голоден. Когда я голоден, я держу её крепко: она тянется ко мне, а я её не пускаю. Когда я сыт… — Он поднимает голову, и на секунду в комнате становится темнее, хотя окно не погасло. — Когда я сыт, я её отпускаю.

— И что тогда?

— Тогда квартал Гальс.

Я делаю шаг назад, к двери — и он смеётся. Тихо, без злобы, словно я хорошо пошутила.

— Три шага, Соль. Я тебя не съем. Мне нужно, чтобы ты прожила год: я не люблю менять якоря.

— Почему?

— Потому что я запоминаю имена, — говорит он. — Все восемь.

И вот тут мне становится по-настоящему холодно.

— Как тебя зовут? — спрашивает он вдруг.

— Не смей, — говорю я.

— Что?

— Не смей запоминать моё имя. — Дыхание сбивается. — Если ты запомнишь, я стану девятой в твоём списке, а не в своём.

Он молчит. Потом откидывается назад, на цепи, и смотрит на меня снизу вверх, и в его глазах что-то мелькает — не тепло, нет. Что-то более опасное: интерес.

— Ладно, — говорит он наконец. — Как скажешь.

И впервые за всё утро я понимаю, что у меня есть одно преимущество, которого нет ни у кого в этой академии: мне нечего терять, кроме себя. А он — он берёт только тех, кто держится за что-то ещё.

Глава 3. Правила на стене

Кровать стоит в семи шагах от него — я проверяю сразу, потому что верю цифрам, а не людям.

Мне приносят медный поднос с хлебом, серым, как этот город, миску холодного варева и свечу. Свечу ставят у двери: в подвале их две, на весь год, и Кейрен предупредила, что вторая будет последней, если я сожгу первую.

Я раскладываю всё на подоконнике узкого окна. Он не смотрит. Он сидит с закрытыми глазами, и цепи на его шее дышат вместе с ним — медленно, в два раза медленнее, чем должен дышать человек.

Пока он спит, я изучаю комнату.

Стена справа от кровати исписана.

Не ровными словами — царапинами, тонкими, точно писали ножом или камнем, прижав его в кулаке. Я подношу свечу и сначала не понимаю, что вижу. Потом понимаю: правила.

1. Не открывай окно после третьего удара колокола. Что бы ты ни услышала.

2. Не спрашивай, что он видел в Пелене. Он ответит.

3. Не позволяй ему гладить тебя по голове. Это не нежность. Это примерка.

4. Если он перестал дышать — не паникуй. Сосчитай до сорока. Это она.

5. Не ври о своём прошлом. Он чувствует ложь и становится голодным.

6. Не проси прощения.

7. Имён не высекай. Их уже слишком много.

Почерк разный. Первые две строчки вырезаны уверенно, ровно. Третью дописывал кто-то, чья рука дрожала так сильно, что до царапин пришлось прижимать камень ладонью. Пятая — другая совсем: тонкая, скошенная, как у почтовых песцов, что ходят по стенке с фермами.

Восемь почерков. Восемь девушек.

На седьмом правиле я останавливаюсь и перечитываю его трижды. «Имён не высекай. Их уже слишком много.» Где-то здесь должны быть имена.

Я ищу. Долго — свеча истекает вдвое. Я ищу в стене справа, внизу, у пола, за кроватью.

Нахожу в самом углу, у самого основания, где камень холоднее всего.

Восемь имён. Тонкие буквы, разной глубины, будто у кого-то хватило сил только на первый инициал и «ви», а у кого-то — на полное.

Мари. Этта. Клён. Дана. Тэя. Лисса. Юна. Соль.

Я смотрю на последнее имя и ничего не понимаю. Я даже встаю, чтобы посмотреть ближе: может, «Соль» — это перечёркнутая «Иолта», может, камень спорит, может…

Нет. Соль. Буква в букву, как в приходской книге приграничья. Глубже всех предыдущих, с острым росчерком на последней «ь», как будто её выцарапали недавно — нет, только что, пока я искала.

Свеча гаснет.

Не от сквозняка — окно заколочено. Она гаснет, потому что воздух сделал вдох.

— Ты нашла их быстрее остальных, — говорит он за моей спиной.

Я не оборачиваюсь. Правило три раза в день разной рукой: три шага. Сейчас между нами пол-локтя и весь мой язык, прилипший к нёбу.

— Ей это не нравится, — говорит он спокойно. — Ей нравится, что ты испугалась. Она тебя уже видит.

— Пелена?

— Она любит, когда якорь боится. — Цепи звякают один раз. — Боишься — значит, за что-то держишься. За что держишься, то и звенит у неё в зубах.

Я медленно, очень медленно, отхожу. Три шага. Четыре. Пять.

— Я спрашиваю третий раз за сегодня, — говорю я, — и, кажется, ты наконец ответишь. Откуда на стене моё имя?

Он молчит так долго, что поясница становится мокрой.

— Не оттуда, откуда ты думаешь, — говорит он наконец. — Я его не писал. — Он поворачивает голову, и в сером свете я вижу, что на его шее, под чёрным стеклом, кожа стёрта до живого. — Я никогда не писал ваших имён. Это делает Пелена.

— Зачем?

— Затем, что она тоже ведёт счёт, — говорит Рэйн Дарроу. — И, Соль, она считает не тех, кто жил. Она считает тех, кто должен был.

Он закрывает глаза, и цепи на его запястьях опускаются.

— Спи, — говорит он. — Утром тебе объяснят, почему девушку с трещиной на весах привезли именно сегодня. Только не думай, что это хорошая новость.

Документ 1. Объявление о наборе

Расклеено в приграничье и в кварталах Вейла весной. Найдено в архиве, в папке «Хозяйственные нужды».

ТИХИЙ ОРДЕН ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

Приглашаются юноши и девушки от шестнадцати до двадцати двух лет, лишённые дара, но крепкие телом и разумом.

Условия:

— полное содержание, кров, стол, обучение;

— по окончании — пособие и право проживания в Вейле без городской пошлины;

— родственникам — единовременная выплата в размере трёх месячных содержаний.

Требования: отсутствие дара подтверждается весами. Лица, обнаружившие на весах трещину, к службе не допускаются.

Приём заявлений — канцелярия, окно 3, по вторникам.

Мелким шрифтом, в самом низу, набрано так, что видно: этот абзац добавляли позже и другим набором:

Заявитель, поступая на службу, соглашается с тем, что в случае необходимости его телесная и душевная целостность может быть употреблена Орденом в целях защиты города, включая полное и безвозвратное использование.

Поверх этого абзаца, карандашом, разными руками, за много лет:

«читай до конца. они там про это и пишут»

«мама, я не хочу, но я пойду»

«три месяца содержания — это восемь рублей. я спрашивал»

Глава 4. Послушницы

Утром дверь наверху открывают ровно в шесть.

Я слышу, как лязгает засов за два витка до того, как вижу свет, и успеваю встать, одёрнуть рубаху и сделать лицо человека, который спал хорошо и совесть имеет чистую. Рэйн Дарроу сидит там же, где сидел вечером, — в сером луче, с закрытыми глазами, и его цепи лежат на полу, как спящие змеи.

— Не оборачивайся на пороге, — говорит он, не открывая глаз. — Она это любит.

Магистр Кейрен стоит на верхней ступени. В руках у неё серое платье и мантия, и на плече мантии, там, где у послушниц серебряная нить, идёт чёрная.

— Пять минут, — говорит она. — Потом занятия.

— Я думала, якорям не положено учиться.

— Якорям не положено многого. — Она бросает мантию мне на руки. — Но ты, Соль, первый случай за семь лет, когда весы ломаются. Значит, будем считать тебя экспериментом.

Тихий Орден встречает меня коридором с высокими окнами. После подвала свет режет глаза до слёз, и я иду, щурясь, как крот, а мимо плывут послушницы в сером — по двое, по трое, с книгами под мышкой, с чернилами на пальцах.

Они замолкают, когда я прохожу.

Не все разом, нет. Сначала одна — маленькая, с косичками, — оглядывается и говорит что-то подруге. Потом вторая. Потом шепот идёт по коридору волной, и через десять шагов на меня уже смотрят все.

— Это она, — долетает сзади. — Которая в подвале.

— Живая?

— Пока.

Аудитория для первого курса пахнет мелом и мокрой шерстью. Я сажусь у окна, и рядом тут же становится пусто — так быстро, словно я принесла с собой сквозняк.

— Основы Пелены, — объявляет наставник, сухой человек с лицом, как сложенный лист. — Кто мне скажет, что держит Вейл?

Лес рук. Он выбирает парня на заднем ряду.

— Стена, — говорит тот.

— Стена — это камень. Камень держит камень. — Наставник поднимает палец. — Что держит Пелену?

— Тихие, — говорит другой голос, и это мой голос, и я сама не понимаю, зачем его открыла.

Тишина.

— Верно, — говорит наставник медленно. — Тихие. И кто же держит Тихих?

Все смотрят на меня, потому что я уже однажды ответила, и теперь от меня ждут второго.

— Якоря, — говорю я.

— Якоря, — повторяет он. — Живые. Не амулеты, не камни, не молитвы. Девушки и юноши без дара, чьё сердце достаточно тёмное, чтобы в него можно было вцепиться. — Он смотрит на меня поверх очков. — И достаточно пустое, чтобы не жалко было потерять.

По аудитории идёт смех. Не громкий, аккуратный, тот сорт смеха, который потом не предъявишь наставнику.

На перемене меня прижимают к стене у лестницы. Трое: двое парней и девица с огненными пальцами, которая вчера получила пять с половиной.

— Значит, ты и есть поводок, — говорит Эдвин Кейл. У него хорошее лицо и плохие глаза. — Знаешь, что делают с поводком, когда собака сдохла?

— Вешают на гвоздь, — говорю я. — А что делают с мальчиком, который семь баллов получил, но до сих пор писает от страха в подштанники?

Он бьёт меня в живот — коротко, привычно, как в тренировочный мешок. Я сгибаюсь, и кто-то из них смеётся.

— Ещё раз откроешь рот без разрешения, — говорит Кейл, — пойдёшь в свой подвал с расквашенным лицом. А он, говорят, не любит, когда его вещи портят.

— Я не его вещь.

— Ты чёрная нитка на мантии. — Он наклоняется. — Ты даже не человек уже. Ты расходник с именем.

Я могла бы сказать, что имя у меня есть и оно не расходное. Могла бы сказать, что через тридцать дней он, скорее всего, будет стоять на стене и умрёт оттого, что Пелена слишком быстро дышит, — потому что я уже поняла, что бывает с теми, у кого семь баллов.

Но я ничего не говорю. Я запоминаю.

Потому что у меня нет дара, нет рода и нет ничего, кроме памяти, — а память в приграничье заменяет и нож, и деньги.

— Кейл, — говорит вдруг кто-то. — У тебя шнурок развязался.

Все оборачиваются. В коридоре стоит девчонка в сером — маленькая, круглолицая, с очень спокойными глазами, — и держит в руках стопку книг выше подбородка.

— Что? — говорит Кейл.

— Шнурок, — повторяет она кротко. — Я думала, ты падаешь. Было бы красиво.

Он смотрит на неё, потом на меня, потом решает, что два свидетеля — уже толпа. Уходит, толкнув меня плечом напоследок.

Девчонка ставит книги на подоконник и вытирает руки о мантию.

— Тайра, — говорит она. — Ты, наверное, не запомнила, у тебя сейчас в глазах двоится.

— Вира, — говорю я.

— Я знаю, кто ты. — Она смотрит на чёрную нить у меня на плече без всякого ужаса, с любопытством. — Все знают. В столовой вчера спорили, сколько ты продержишься.

— И сколько мне дали?

— Больше всех поставила кухня, — говорит Тайра. — Девять дней. У них считается, что кухня всегда угадывает.

Я смотрю на свои руки. Под ногтем, сломанным о весы, запеклась кровь.

— У меня дар? — спрашиваю я. — Скажи честно. Ты ведь что-то слышишь про других, да? Все здесь что-то слышат.

Тайра молчит. Потом говорит, очень тихо:

— У тебя нет дара, Вира. Совсем. — Она поднимает глаза. — Но когда ты вчера соврала Кейлу про его подштанники, я услышала не ложь.

— А что?

— Стук, — говорит она. — Будто в стене кто-то стучит изнутри. У людей так не бывает.

Звенит колокол. Тайра подхватывает книги и уходит, а я остаюсь стоять у окна, и за окном — стена, серая до неба, и дальше, за стеной, что-то очень медленно дышит.

Интерлюдия. Эдвин Кейл

Меня зовут Эдвин Кейл, мне девятнадцать, и я не злодей.

Я это говорю не для того, чтобы вы мне поверили. Я это говорю потому, что за три недели до того, как всё случилось, я стоял в коридоре и держал за плечо девочку из приграничья, и был уверен, что делаю правильно.

У нас дома всё измерялось местом. Не деньгами — деньгами тоже, но главным было место: кто сидит ближе к отцу, кто входит первым, кто говорит последним. Когда я в семь лет принёс грамоту за арифметику, отец поставил её на полку выше, чем грамоту сестры. Сестра потом полгода со мной не разговаривала, а я стоял и думал: ну и что, у меня же выше.

В академии всё то же самое, только полок меньше. Семь баллов — это не дар, это место. Семь баллов — это «пойдёт на стену», а пять — «может, останется». Я получил семь в первый день и весь первый день был счастлив. Вечером я узнал, что на стене средний срок службы — тринадцать месяцев.

Мне тринадцать месяцев осталось, и я это знаю с первого дня, и всё, что я делаю с людьми в коридорах, — это попытка быть первым в комнате, где первые уже назначены до меня.

Вира Соль не была мне врагом. Она была мне доказательством.

Если девочка без дара живёт в подвале и её не убивают, значит, семь баллов — это не место. Значит, я тринадцать месяцев иду на стену просто так, за красивые глаза. Понимаете? Я год держал себя тем, что я лучше тех, кто не на стене. А тут пришла пустая — и весы под ней лопнули, и Совет утёрся, и чудовище её слушается.

Я в тот месяц ненавидел её так, как ненавидят человека, который отменяет проценты.

А потом был храм.

Я стоял в третьем ряду, когда она сказала Совету «я согласна, но вместе», и в зале стало тихо, и я вдруг услышал, как у меня стучат зубы. Не от страха. От зависти: она умела то, чего мне не купить ни за какие баллы. Она могла сказать «нет» так, что это было «да».

Сестра потом спросила меня, почему я пошёл к ней в канцелярию писать показания про магистра. Я сказал: «потому что он подписал сроки». Это правда, но не вся.

Вторая половина правды такая: я хотел хоть один раз в жизни войти в комнату первым не по праву места, а по праву того, что я видел.

Сестра сказала: «Ты врёшь». Я сказал: «Знаю». Мы поговорили впервые за год.

Отца сослали в приграничье в конце месяца. Он написал мне письмо на двух листах, где двадцать раз повторил слово «содержание».

Я не ответил.

Глава 5. Три шага

В подвал я спускаюсь в семь, с подносом, и с каждым витком лестницы во мне становится тише.

Странно: наверху я весь день держалась на злости, как на костыле. Злость кончилась на середине винта.

Дверь отходит легко. Он сидит в луче — но не в сером утреннем, а в багровом, закатном: узкая полоса окна ловит запад и красит пол в цвет старого вина.

— Ты опоздала на четыре минуты, — говорит он.

— Я не знала, что у нас расписание.

— У нас всё по расписанию, Соль. Просто тебе его ещё не выдали.

Я ставлю поднос на подоконник. Хлеб, варёное зерно, ломоть чего-то мясного — наверху, видимо, решили, что расходник должен быть упитанным.

— Ешь.

— Сначала ты сядь.

— Я не голодна.

— Я не про голод. — Он поднимает голову. — Ты весь день стояла. У тебя отёк на правой ноге, ты переносишь вес на левую. Сядь, Соль, а то через год я буду вспоминать якорь, который хромал.

Я сажусь на край кровати — нарочито неловко, не в его сторону, — и он наконец берёт хлеб.

Ест он медленно, по-человечески. Это почему-то хуже всего: смотреть, как он ест.

— Расскажи про них, — говорю я.

— Про кого?

— Про восемь. — Я киваю на угол. — Ты сказал, что помнишь имена.

Он перестаёт жевать.

— Зачем тебе?

— Затем, что я каждую ночь сплю в комнате, где на стене выцарапаны восемь мёртвых девчонок, — говорю я. — Если я буду знать, кто они, это будет не кладбище, а соседки. С соседками не так страшно.

Он долго молчит. Потом ставит хлеб на поднос и говорит:

— Мари пела. Плохо, всё время не в такт, но она пела, когда я переставал дышать, потому что от её голоса я вспоминал, что дышать надо. Этта была злая, как сотня ос. Она дважды пыталась меня убить и один раз почти смогла. Клён боялась темноты и всё равно спускалась сюда каждый вечер. Дана читала мне вслух учебники, я до сих пор помню наизусть про структуру Пелены — вот это, кстати, единственное, что в этой комнате пригодилось.

— А Тэя?

— Тэя молчала шесть месяцев. — Он смотрит в стену. — А на седьмой заговорила, и я понял, что лучше бы молчала.

— Что она сказала?

— Что Пелена зовёт меня по имени, — говорит он. — И что я отвечаю.

Пламя свечи дёргается.

— Лисса, — продолжает он ровно, — придумала правило про три шага. Юна написала половину этих царапин на стене. Восьмая… — Он замолкает.

— Восьмая — я, — говорю я.

— Восьмая была Соль, — говорит он. — Как ты. И она была первой, кто попросил не запоминать её имя.

Я смотрю на него.

— Её звали Соль?

— Её имя было Соль, — повторяет он. — А на стене твоё.

В комнате становится очень тихо. В окне багровый луч гаснет, словно кто-то наверху задул небо.

— Ты врёшь, — говорю я.

— Я не умею, — отвечает он. — Одно из проклятий Тихого: мне физически трудно. Пелена такого не любит.

Я встаю. Делаю шаг назад — раз. Второй — два. Третий — три.

— Хорошо, — говорит он одобрительно. — Видишь, ты уже запомнила.

— Хорошо? — повторяю я. — Ты только что сказал, что у меня имя мёртвой девушки.

— У тебя имя девушки, которая умерла в этой комнате, — говорит он. — Это не одно и то же. — Он откидывается на цепи. — Хочешь совет, Соль? Не ищи, почему так. Ищи, кому это выгодно.

— А тебе?

— Мне выгодно, чтобы ты прожила год. — Он улыбается одним углом рта. — Мне вообще очень выгодно, чтобы кто-то в этом городе жил достаточно долго, чтобы я успел его запомнить.

Ночью я не сплю. Лежу на спине, смотрю в потолок, где нет ни одной трещины, и считаю шаги до его луны света — семь, — а он дышит медленно, в два с половиной раза медленнее человека.

На третьем часу я всё-таки засыпаю.

И во сне кто-то очень похожий на меня поёт не в такт.

Глава 6. Осмотр

На второй день всех послушниц водили на осмотр, и это было хуже весов.

Весы — это публично: двор, толпа, аплодисменты, кто-то смеётся. Осмотр — это по одному, за дверью, в комнате, где пахнет карболкой, и никто никогда не рассказывает, что там было, потому что рассказывать нечего и потому что стыдно.

— Раздевайтесь до рубахи. На кушетку. Не разговаривать.

Лекарь был старый, в очках, и он трогал холодными руками и не смотрел в лицо, и от этого было легче.

— Дышите. Ещё. Не дышите. Кашляйте. — Он заглядывал в глаза, в горло, поворачивал голову влево и вправо. — Руки вперёд. Ладони вверх.

Он долго смотрел на мои ладони.

— Что это?

— Где?

— На левой. — Он взял мою руку и положил мою же ладонь себе на ладонь. — Вот здесь. Холодное.

Я посмотрела. На левой ладони, у самой линии, было место, где кожа не чувствовала. Не болело, не чесалось — не чувствовала, точно там был кусочек чужого.

— Не знаю, — сказала я. — Оно всегда такое. С детства.

— С детства?

— Наверное.

Он записал что-то в лист, и я не видела, что, потому что он писал, прикрывая рукой.

— А болит?

— Нет.

— Холодно?

— Нет.

— А если надавить?

— Ничего.

Он отложил перо и сказал:

— Одевайтесь.

И больше ничего не сказал. Ни объяснения, ни утешения, ни вопроса. Я оделась и вышла, и в коридоре стояла очередь, и все смотрели на меня, и я сказала: «Ничего особенного».

Вот так и появляются те самые строки, которые потом читают через двести лет.

Через год я читала в папке с сургучом чужую запись, сколотую к делу скрепкой, и там было почти про меня:

«При осмотре якоря (жен., 19 лет) отмечено: на левой ладони участок кожи, не чувствующий холода, размером с монету. Якорь объяснила: „здесь всегда холодно“. Через две недели якорь переведён. Через три — умер. Я не знаю, что это было. Я написал „не выявлено“».

Девятнадцать лет. Значит, она пришла на год позже меня и на год раньше — в другую сторону.

А про мою ладонь в моём листе было написано коротко: «Особых отметин не выявлено. Взвешивание: трещина».

Трещина — это когда стрелка не встаёт ни на ноль, ни на число, а дёргается.

С этой трещины всё и началось. И, если честно, я до сих пор не знаю, что она такое: то ли я была поломкой, которую решили использовать, то ли первой, у кого весы сломались правильно.

Дальше в тот день была кровь.

Кровь берут всем послушницам — не для Тихого, а в запас, для госпиталя. Это называется «добровольная сдача», и это тоже галочка в бумаге: сдал — значит, здоров, значит, годен.

Кровь брали в том же коридоре, за перегородкой, и там стояла девчонка из приюта, которая боялась иглы, и её держали двое, и она всё повторяла:

— Я не буду, я не буду, я не буду.

— Будешь, — сказал служащий. — Ты подписала.

— Я не знала, что подписывала!

— Все не знают. Руку.

И вот здесь я впервые в жизни подписала бумагу, которую не читала.

Их было две. Первая — о том, что я согласна на осмотр и на сдачу крови. Вторая — та самая, с семью пунктами, о которой я узнала только через год, из разговора в очереди у третьего окна.

— Подписывайте здесь и здесь.

Я подписала. Перо было плохое, кончик раздвоенный, и я старалась вывести «Соль Вира» красиво, потому что это была единственная красивая вещь, которая от меня осталась.

— Дочитайте, — сказал вдруг служащий.

— Что?

— Дочитайте, — сказал он и посмотрел на меня устало. — Я обязан сказать. Я говорю всем. За тридцать лет дочитали четыре человека.

Я взяла бумагу и стала читать. Там было про порядок, про обязанности, про то, что Орден не отвечает за повреждения, полученные при исполнении…

— До седьмого пункта не надо, — сказал служащий.

— Почему?

— Потому что вам от этого будет только хуже. — Он забрал лист. — Седьмой пункт читают в конце, когда всё уже решено. Он для тех, кто останется.

Я тогда не поняла и подписала.

Через год, когда я стояла в канцелярии у окна три и просила показать мне форму, писарь сказал мне: «Я тридцать лет работаю в этом окне. Через меня прошло триста двадцать восемь согласий. Все подписаны. Хотите знать, сколько человек дошли до седьмого пункта?»

Ни один.

Так мы все и подписываем: двадцать девушек в коридоре, с иглой, с плохим пером, с желанием вывести своё имя красиво. Нас не обманывают. Нам даже говорят «дочитайте».

В тот момент, когда нам это говорят, в голове другое: дадут ли поесть, отрежут ли волосы, поеду ли я домой.

Глава 7. Крик в третью ночь

Третий удар колокола в Вейле — не звук. Это толчок воздуха.

Я уже знаю это к третьей ночи: первый удар ты слышишь, второй проходит через тебя, а третий — просто отодвигает весь мир на полтона влево. Меня учили в приграничье не пугаться.

В приграничье учили пугаться правильно.

Я просыпаюсь за мгновение до третьего. Свеча у двери горит ровно, и в её свете мой силуэт на стене дышит не в такт со мной.

Окно — полоса под потолком — открыто.

Я точно знаю: оно заколочено, я проверяла, я даже нашла, где гвозди вбиты в раму так, что шляпки спилены, чтобы никто не вытащил.

Оно открыто.

И снаружи, с той стороны, где должна быть стена до неба, говорит голос.

— Вира, — говорит он. — Ну что ты боишься. Три шага всего.

Голос мой.

Я стою на коленях на кровати и смотрю на своё лицо в чёрном прямоугольнике окна. Оно не отражается — в окне нет ни неба, ни стены, ни дождя. Только я, только тьма, и этот голос.

— Пойдём, — говорит он мне моим голосом. — Там такие же девчонки. Ты им расскажешь про ложку. Ты же хранишь какую-то дурацкую ложку.

Ложка. Я никому не говорила про ложку.

Я слышу, как у меня стучат зубы, — и понимаю, что уже стою на полу. Что уже сделала два шага к окну. Что третий шаг — уже занесён.

И тогда сзади в пол впивается железо.

Цепи Дарроу рвут камень со звуком, от которого содрогается старый потолок. Он оказывается рядом слишком быстро для человека, прикованного к полу, — и закрывает окно ладонью.

Просто ладонью. Пальцы ложатся на чёрный проём, и там, где стекло касается кожи, кожа становится серой.

Окно кричит.

Тот же звук, что и весы во дворе: высокий, живой, с рвущимися связками. Секунда — и он стих, и в мире снова только мы, свеча и растрескавшийся камень.

Дарроу стоит, пригнув голову к плечу, цепи натянуты до звона — и с его ладони капает.

— Три шага, — говорит он. — Я тебе вечером сказал три шага, а ты утром не слышала.

Я сползаю по кровати на пол.

— Оно назвало меня Вирой.

— Оно называет всех. — Он опускается на колени, и я вижу, что его трясёт — мелко, ровно, как от холода. — Это не имя, Соль. Это приманка. Она берёт то, что ты носишь на себе, и зовёт этим.

— Почему она не может так с другими? Почему девчонки из общежития спят и не слышат?

Он молчит.

— Почему, Дарроу?

— Потому что они не якоря, — говорит он. — Якоря слышат.

— Восемь девчонок тоже слышали?

— Все.

— И сколько из них открыли окно?

Он смотрит на свою ладонь. На ней нет раны, нет крови — кожа серая, как зола.

— Восьмая, — говорит он. — Юна. На девятую ночь. — Он поднимает глаза. — Она говорила голосом, который услышала в окне, четыре часа. Я не смог дотянуться.

— А почему смог сейчас?

Я сама не знаю, зачем я это спросила.

Он не отвечает. Он смотрит на меня так, как смотрят на цифру, которая не сходится.

— Потому что ты, когда испугалась, — говорит он наконец, — не побежала к двери. Ты пошла к окну, но остановилась. — Он отворачивается. — Обычно все сначала бегут к двери. К двери тянет страх. К окну тянет она.

— И что это значит?

— Что тебя держит не страх, — говорит он. — Плохо, Соль. Меня держит тоже не страх. Нас с тобой поэтому, наверное, и сложили в одну комнату.

Цепи снова уходят в пол, и он садится там, где сидел, — в самый угол, чтобы свеча не доставала.

Я сижу на полу и понимаю, что у меня отнялось не только дыхание. У меня отнялась мысль: я всю жизнь считала главным, что могу уйти. А уйти, оказывается, можно только до того, как тебя позовут по имени.

— Спи, — говорит он из темноты.

— Я больше не могу закрыть глаза.

— Тогда не закрывай. — Голос у него усталый. — Смотри на меня и слушай, как я дышу. У меня медленно, тебе будет скучно, скука — лучший сонник.

Я смотрю на него.

И только на пятом его вдохе понимаю, что он сжимает серую ладонь в кулак — так, как сжимают, когда очень больно, но не хотят, чтобы это заметили.

Глава 8. Дверь наверх

Стены в подвале старые, и старые стены всегда врут.

Я замечаю это на утро после третьей ночи: восьмое правило на стене, дописанное тем же дрожащим почерком, что и третье, — «Не ищи дверь, если не собираешься ею пользоваться». Имя под ним выцарапано так глубоко, что камень выкрошился.

Дверь я нахожу за кроватью, в углу, где высечены имена. Восемь имён вырезаны там не просто так. На них нажимают — все восемь, в порядке стены сверху вниз, — и камень отходит на ширину плеча.

За ним каменный мешок с лестницей, вырубленной прямо в скале.

Я поднимаюсь в чужих шагах: по лестнице ходили часто, но не сейчас — на ступенях ровный слой пыли, кроме одного места, где её стёрли.

Лестница выводит в нишу за гобеленом в западном крыле, а ниша — в коридор, где пахнет лавандой и морозом.

Голоса я слышу раньше, чем успеваю осознать, что не надо было сюда приходить.

— …это не жертва, магистр. Это процедура, — говорит Кейрен. — Мы кормим Пелену сосудом вместо города. Сосуд пустой, в нём никто не живёт.

— Трещина на весах, — отвечает мужской голос. — Когда весы ломаются, Кейрен, это не значит «сосуд». Это значит «зов».

— Я читала протоколы.

— Вы читали протоколы Разрыва, любезная моя. Там тоже двенадцать выпускниц Кел-пера стояли на весах, и у девяти из них весы трещали. Все девять открыли окно.

— Моя открыла окно и не вышла.

Пауза.

— Да? — Мужчина говорит с новым интересом. — Когда?

— В третью ночь. — Голос Кейрен ровен до тошноты. — Она стояла в шаге от окна. Дарроу закрыл рамой.

— Ещё интереснее. — Шаги по камню. — Тогда, может быть, вы правы. Может, она действительно сосуд. Тем проще. Ритуал Замещения через тридцать дней, как и планировали. Сосуд израсходуется, Пелена возьмёт своё, стена простоит ещё год. С записями?

— С записями, — говорит Кейрен. — С двадцать четыре дня.

Я стою за гобеленом, и мои ноги врастают в пол.

Не «ритуал, который может быть», не «если она не справится». Тридцать дней — не срок испытания. Это срок годности.

Сосуд. Не человек. Расходник с именем. Я шепчу это про себя голосом Эдвина Кейла, и впервые в жизни чужая гадость оказывается правдой.

Обратно я иду быстрее, чем разумно. Пыль стёрта там, где ходили, и я надеюсь, что мой след всегда можно списать на другого.

Он ждёт у стены. Не сидит, не спит — стоит, ровно, как в копи цепь, и цепи за ним звенят.

— Ты была наверху, — говорит он, не спрашивая.

— Я ходила за водой.

— Ты ходила по тайной лестнице за водой. — Он поднимает глаза. — Сколько?

— Что сколько?

— Сколько дней.

И вот тут мне становится по-настоящему страшно, потому что я не сказала ни слова правды, и он всё равно уже знает.

— Тридцать, — говорю я. — Ритуал Замещения. Сосуд. Это я. — Голос ломается на середине. — Двадцать четыре дня с записями.

— Двадцать четыре, — повторяет он медленно. — У восьмерых было меньше.

— Что?

— У девяти из двенадцати, — говорит он. — На весах Келпера. Я читал протоколы, Соль, я двести лет не сижу в подвале просто так. — Он цепляет цепь рукой и звенит ею, будто ставит точку. — Ты продержалась три ночи, и ты уже не в тот тип, что «сосуд». Совет этого ещё не понял. Кейрен уже почти поняла.

— Издеваешься?

— Хвалю. — Он отходит на шаг, ровно на три. — Разница в том, что сосуд течёт и не знает, а якорь знает и держит. Ты теперь знаешь.

— И что мне с этим делать? — спрашиваю я. — Я не могу убежать, за стеной Пелена. Не могу драться, у меня нет дара. Что, посидеть двадцать четыре дня и вежливо израсходоваться?

Дарроу смотрит на меня долго.

— У тебя тридцать дней, — говорит он наконец. — Тридцать, Соль. Ритуал может быть «через тридцать», но у Ритуала есть одна особенность: он требует согласия якоря. Это написано мелким шрифтом в самом низу протокола. — Он улыбается, и улыбка у него злая. — И у тебя есть очень неприятная для Совета возможность: не согласиться.

Глава 9. Дортуар

Дортуар — это длинная комната на втором этаже, двадцать коек в два ряда, одно окно на двадцать человек и правило, которое нигде не написано: никто не садится на чужую койку.

Меня привели туда на четвёртый вечер — после трёх ночей в подвале, после правил и после того, как меня перевели наверх, в комнату с двадцатью койками. Я была так пуста, что даже не испугалась.

— Четвёртая слева, — сказала надзирательница. — Постель в ящике. Стрижка завтра в шесть.

— В шесть утра?

— В шесть утра.

Стрижка — это первое, что делают с послушницей.

Не потому, что волосы мешают. Волосы мешают меньше, чем кажется. Стрижка нужна для того, чтобы человек перестал быть собою и стал одинаковым со всеми — и делают её в первый же день, пока он ещё оглушён, потому что оглушённый человек не сопротивляется.

Мне отрезали косу выше плеч, и я смотрела, как она падает на пол, и думала: вот и всё, вот я и кончилась.

Девчонка, которая стригла, сказала:

— Не реви. Отрастёт.

— Я не реву.

— Все так говорят. — Она отрезала ещё прядь. — Хочешь совет? Не смотри в зеркало до Рождества. Потом привыкнешь.

В дортуаре нас было двадцать, и это были очень разные люди, что выяснилось в первую же ночь.

У окна спала девочка с огнём на пальцах — та самая, с пяти с половиной. Её звали Лида, и она была из торгового квартала, и у неё осталась дома семья, и она плакала, отвернувшись, и никто не подходил, потому что подойти к плачущей в первые дни — значит признаться, что и тебе хочется.

Рядом со мной легла толстая девчонка по имени Барба, которая сразу сказала:

— Я не пройду. У меня два с половиной.

— Откуда знаешь?

— Мне сказали. — Она вздохнула. — Ну и ладно. Обратно поеду, буду в трактире работать. Мне дядя обещал место.

Она продержалась четыре месяца и ушла сама — не потому, что её выгнали, а потому что не выдержала расписания. Через год я встретила её на рынке, она торговала пирогами и была счастлива, и это, пожалуй, единственная счастливая встреча за всё то время.

Правила дортуара никто не писал, но их знали все:

Не садись на чужую койку.

Не бери чужой хлеб, даже если он лежит и портится.

Не спрашивай про дом, если человек сам не говорит.

Не рассказывай про сны: за сны здесь вызывают к надзирательнице.

И главное: если ночью кто-то плачет, не утешай. Скажи «я тут» и лежи.

Вот это последнее — самое важное. Я его не сразу поняла. Я в первую ночь полезла утешать Лиду, и она заорала на меня так, что проснулись все, — не от злости, а оттого, что её выдернули из того места, куда она себя уложила.

А на третью ночь плакала я, и девчонка с верхней койки сказала в темноту:

— Я тут.

И это было всё, что нужно.

Ещё в дортуаре была ниша, и в нише стоял кувшин с водой и лежал хлеб.

Хлеб не считался едой — еда была в столовой, по расписанию. Хлеб в нише считался тем, что можно взять, если не можешь спать. Его клали каждую ночь, и его никто не охранял, и его хватало на всех, потому что брали только те, кому правда не спалось.

Я потом узнала, кто его кладёт. Лора, с кухни.

— Почему ты его кладёшь? — спросила я её через месяц.

— Потому что у меня на кухне тётушка была якорем, — сказала Лора. — И она в первые месяцы не спала. И я тогда была маленькая и ничего не могла сделать, кроме как хлеба положить.

В первый месяц в дортуаре отваливается всё, чем человек держался.

Сон — первым. Потому что подъём в пять, отбой в десять, и в промежутке столько, что к вечеру ноги не идут. Потом еда: порция не маленькая, но непривычная, и половина первого месяца уходит на то, чтобы перестать думать о еде всё время. Потом стыд: тебя стригут, тебя осматривают, тебя взвешивают и записывают, и ты перестаёшь быть человеком с именем и становишься строкой.

И вот когда всё это отвалилось, остаётся то, что в тебе было на самом деле.

У кого-то это злость. У кого-то — слёзы. У кого-то, как у Лиды, — упрямство: она решила, что раз её взвесили на пять с половиной, то она будет лучшей на курсе, и стала, и это её потом и убило, потому что лучших ставят первыми.

У меня осталось одно: я умела держаться за людей.

Не за идею, не за обещание, не за Орден. За людей, которые рядом: за Барбу, которая не пройдёт, за Лиду, которая плачет в подушку, за девчонку с верхней койки, которая умеет сказать «я тут» в темноту.

Через месяц я поняла, что это и есть то, за что меня взяли.

Не за ноль на весах. Не за кровь на бронзе. За это.

Тогда я думала, что это значит, что я буду хорошим человеком.

Теперь я знаю, что это значит, что я буду очень удобным якорем.

Глава 10. Дорога в Вейл. Первые семь дней

Ночью в дортуаре все лежат и не спят, и тогда начинается разговор, который в академии потом не повторяется никогда.

— Ты откуда?

— С приграничья.

— Это где?

— Это три дня на обозе, если дорога сухая.

Обоз шёл из Кривого Лога, и нас в нём было одиннадцать: восемь девчонок, два парня и одна женщина с ребёнком, которую никто не спрашивал, зачем она едет. Ехали на соломе, под рогожей, и первые сутки все молчали, а на вторые начали говорить.

Тётка сдала меня в набор за долг.

Долг был восемь рублей с половиной — за муку, за соль, за то, что мы с матерью ели зиму, когда отец не вернулся. Я не знала подробностей: когда долг отдают, подробности никого не интересуют. Тётка сказала: «Орден платит за набор, и тебе там будет лучше». Это была правда, и это было хуже всякой лжи.

Мне выдали бумагу, в бумаге было написано: «Соль Вира, приграничье, сирота, безродная, к взвешиванию допущена». Я читала эту бумагу в обозе двадцать раз, и каждый раз спотыкалась на слове «безродная», потому что оно было написано не про меня, а вроде как вместо меня.

В обозе был мальчик.

Ему было лет семь, он ехал с матерью, и у него были холодные руки.

Не для красоты — у него правда были холодные руки, точно он всё время держал в них снег. Мать его кутала, а он всё равно стыл, и она говорила: «Он у меня такой, он всегда такой».

На второй день он подсел ко мне и сказал:

— У тебя ложка.

У меня была ложка. Деревянная, с трещиной по черенку, единственное, что осталось от дома.

— У тебя ложка, — сказал он, — а у меня нет.

И я её ему дала. Не насовсем, а подержать, и он держал её двумя руками всю дорогу, и ночью тоже, и мы ехали рядом, и я держала его за плечо, чтобы он не скатился с соломы на ухабах.

На третий день обоз остановился у стены, и оказалось, что он едет не в Вейл, а дальше — на восточный участок, где его мать нанялась в прачки.

— Отдай ложку, — сказала я.

— Я думала, ты подарила, — сказала его мать.

Я не стала спорить. Мне было восемнадцать, и я ехала взвешиваться, и ложка была единственным, что у меня было, — и я оставила её мальчику с холодными руками, потому что он держал её так, как держат не вещь, а что-то живое.

Так я и приехала в Вейл без ничего.

Дальше была очередь у ворот. Мы стояли шесть часов, и в очереди никто не разговаривал, потому что все боялись услышать про себя. Помню запах: пепел, мокрый камень, чужие немытые тела и — вот это странно — печёное. Где-то за стеной пекли хлеб, и от этого запаха у меня кружилась голова, и я всё время думала не о весах, а о том, дадут ли поесть до или после.

Писарь у ворот спрашивал имя, откуда, есть ли родные в городе.

— Нет.

Он поставил галочку.

Эта галочка потом шла со мной через все бумаги. «Безродная» — это не слово про человека. Это отметка, которая говорит: за тобой никого нет, за тебя не придут, и если с тобой что-нибудь случится, то сообщать некому.

— Вон там, — сказал писарь, — двор. Весы в центре. Не толкаться.

И я пошла во двор, и на мне была рубаха, в которой я спала три ночи, и под ногтями была дорожная грязь, и в кармане — ничего, потому что ложку я отдала.

Вот и всё, что нужно знать про то, как я сюда попала.

Мне потом говорили, что это была удача. Что если бы тётка не сдала меня за долг, я бы вышла замуж в Кривом Логу и умерла от родов в двадцать три, и никто бы не запомнил моё имя.

Может, и так.

Но я помню, как в очереди у ворот стояла рядом женщина с девочкой, и девочка спросила: «Мама, а если у меня ноль?» — и мать сказала: «Тогда мы пойдём домой».

Ей повезло.

* * *

Первые семь дней в академии я почти не видела Тихого и очень много — расписания.

Расписание висело в столовой, и его знали наизусть к третьему дню:

пять — подъём; пять тридцать — молитва (короткая, её никто не слушал); шесть — работа (у кого какая: кухня, дрова, коридоры, госпиталь); восемь — завтрак; девять — занятия; двенадцать — обед; час — занятия; четыре — работа; семь — ужин; девять — вечернее правило; десять — отбой.

— Зачем столько работы? — спросила я на второй день у надзирательницы. — Мы же учимся.

— Чтобы вам некогда было думать, — сказала она. — Думать вы будете, когда вас поставят к стене. Пока думать вредно.

Занятия первые две недели были общие для всех, и на них учили вещам, которые я не понимала.

Учили Пелену: что она не туман и не дым, что она не имеет вкуса и запаха, что она видна только краем глаза и исчезает, если смотреть прямо. Учили окна: сколько их бывает, как они открываются, почему нельзя стоять ближе трёх шагов. Учили знаки: восемь отметок, которые ставят на карте поста.

А ещё учили географию, и вот география оказалась самым страшным предметом.

Не потому, что было трудно. Потому что на карте Вейла был нарисован город, а вокруг — ровный серый круг, и в круге стояли крестики.

— Что это? — спросила я.

— Деревни, — сказал учитель.

— Где?

Он повёл палочкой.

— Кривой Лог. Гнилая Падь. Три Ключа. Дальше не читается.

Я смотрела на крестики и понимала, что один из них — мой.

— А люди там есть?

Учитель помолчал.

— В Кривом Логу — да, — сказал он. — В Гнилой Пади — не знаю. Три Ключа в прошлом году прислали обоз. С тех пор не присылали.

— А что с ними?

— Соль, — сказал учитель, — вы пришли учиться. Вот и учитесь.

Через два дня я подошла к нему после занятия и спросила:

— А почему про них не пишут?

— Пишут.

— Где?

— В отчётах. — Он посмотрел на меня. — Вы хотите знать, что там написано? «Участок закрыт. Население не установлено». Вот и всё, что написано. И это, к сожалению, правда: мы не знаем, есть ли там население. Мы не можем проверить.

— А обозы?

— Обозы ходят по дороге, — сказал учитель. — Дорога — это то, что мы охраняем. Деревни — это то, что мы не охраняем. Если вы хотите это исправить, вам надо стать магистром, а магистров восемь.

Вечером я лежала на койке и считала.

Три Ключа — это сорок дворов. Я знала, потому что у нас в Кривом Логу было тридцать два, и я знала, сколько это людей: сто восемьдесят, если считать детей.

Сто восемьдесят человек — это «население не установлено».

На шестой день я попробовала уйти.

Не из благородства и не из протеста. В тот вечер у меня кончились силы: я стояла в коридоре с ведром и тряпкой и поняла, что не могу больше тереть пол, и что если я сейчас не выйду за ворота, то сойду с ума.

Я дошла до ворот. Никто меня не остановил.

За воротами была улица, а на улице — лужа, и в луже отражалось небо, и я стояла и смотрела на лужу, потому что это было первое за шесть дней, что не принадлежало Ордену.

Стражник у ворот сказал:

— Гуляете?

— Да.

— Полчаса, — сказал он. — Больше нельзя, вас хватятся.

Я села на камень и просидела полчаса.

Уйти можно было в любую минуту. В этом и было самое страшное: никто меня не держал. Держало только то, что идти было некуда: тётка сдала меня за долг, ложка осталась у мальчика, а в Кривом Логу на карте стоял крестик.

Через полчаса я встала и вернулась.

Стражник посмотрел на меня и сказал:

— Ну вот.

— Что «ну вот»?

— Ничего, — сказал он. — Я тут семь лет стою. Через меня половина курса так проходит. Первую неделю все ходят до ворот. Потом перестают.

— Почему?

— Потому что понимают, — сказал он. — Тут плохо. А там — ничего. Выбирают плохое.

Я потом много раз думала, что это был самый честный разговор о Вейле за весь мой первый год.

И ещё я думала о другом: что человек, которому некуда идти, — это самый удобный человек на свете. Ему можно дать ведро, расписание, три шага и подвал, и он всё возьмёт, потому что альтернатива — крестик на карте.

Орден это знал. Не потому, что был злым, а потому, что считал.

Глава 11. Орден требует ответа

На Совете пол блестит так, что в нём отражается люстра, и от этого кажется, что все тринадцать человек стоят в воздухе.

Меня ставят в центре, между магистром Кейрен и таблицей о структуре Пелены, нарисованной мелом на доске так, будто меня приводят на экзамен.

— Послушница Соль, — говорит человек с самой левой стороны. — Вы знаете, зачем вы здесь?

— У меня есть гипотеза.

— Трещина на весах — это зов, — продолжает он, не слушая. — Пелена нашла вас в приграничье и идёт по вашему слёту. Мы можем закрыть прорыв двумя способами: отдать ей город или отдать ей то, что она ищет.

— Город чуть дороже, — говорю я. — Понимаю.

Кто-то в конце стола прыскает.

— У нас есть свидетельство, — говорит Кейрен. — Послушник Кейл?

Эдвин Кейл выходит из-за колонны. У него чистая мантия и лицо человека, который очень хорошо выспался.

— На весах, — говорит он ровно, — чаша Соль пошла вправо. За десятку, господа. Я стоял третьим и видел, как лопнула цепь. — Он делает паузу. — Ни у кого из нас не было больше семи. У неё — ни одного балла дара, и при этом шкала ушла за предел. Это не якорь. Это дверь.

«Это дверь, — думаю я. — Не „она убьёт нас“, а „она дверь“. Скажи им ещё, что я не человек, — и тринадцать человек за столом вздохнут спокойно».

Я не выдерживаю:

— Вы все сидите здесь, — говорю я, — и делите меня, как хлеб. Только забываете одну вещь. — Я поворачиваюсь к Кейрен. — Если я и правда дверь — что будет, когда вы меня закроете? Вы уверены, что Пелена уйдёт, а не попробует остальные ручки?

Тишина. Кейрен смотрит на меня внимательно, как смотрят на весы, которые сломались второй раз.

Двери распахиваются.

Дарроу вводят четверо — с двух сторон на цепях, и цепи натянуты так, что он идёт, чуть наклонившись вперёд. В Совете пахнет лавандой и морозом, а от него — землёй.

— Тихий явился, — говорит левый. — Впервые за год.

— Мне сказали, что здесь решают, — говорит Рэйн Дарроу, — сколько мне ещё жить с вашим решением.

Человек за столом, который был у меня первым, вздыхает:

— Дарроу, речь не о вас. Речь о сосуде.

— О якоре.

— О сосуде, — повторяет он твёрдо. — Ритуал Замещения — это уже не ваш вопрос.

Дарроу поднимает голову, и люстра над столом мигает — просто мигает, как свеча на сквозняке, все тринадцать человек одновременно поднимают глаза, и один из них роняет перо.

— Вот тут вы ошибаетесь, — говорит он спокойно. — Это мой вопрос целиком. — Он смотрит на меня, и впервые в его взгляде нет ни интереса, ни насмешки, только ровная, страшная простота. — Если её израсходуют раньше, чем я отпущу, я перестану держаться. Мне нечем будет держаться, понимаете? Якоря нет — границы нет.

— Это шантаж.

— Это физика. — Он пожимает плечами и звенит цепью. — Я могу объяснить вам ещё раз, господа: я не человек, который держит чудовище. Я чудовище, которое держит себя за волосы. Волосы — вот они. — Он кивает на меня. — Расходуйте аккуратно.

Совет молчит долго. Потом человек с левой стороны говорит:

— Тридцать дней. Якорь учится, служит и готовится. На тридцатый день Совет решает. — Он смотрит на меня поверх стола. — Оба.

— Согласна, — говорю я. — С одним условием.

— С каким же?

— Я учусь по-настоящему. — Я говорю быстро, пока не передумала. — Не «слушай и не мешай» — а как все: Пелена, структура, работа с цепями. Если вы хотите, чтобы я держала Тихих, я должна хотя бы знать, что держу.

Кейрен изгибает бровь.

— Хорошо, — говорит она, и в её голосе отчётливо слышно другое: «Наблюдаю». — Посмотрим, чего вы стоите, послушница.

В коридоре он догоняет меня, звёздами цепей.

— Умно, — говорит он. — Учиться. Даже я не придумал бы так вовремя.

— Ты вообще пришёл на Совет только чтобы меня сохранить, — говорю я. — Зачем?

Он останавливается. В коридорном окне серый свет, и он стоит в нём, и тени за ним по-прежнему нет — ни одной.

— Я помню восемь имён, — говорит он. — Я не хочу помнить девять. Это всё, что у меня есть, Соль, и я предпочитаю не тратить это зря.

Я уже разворачиваюсь, когда он говорит, совсем тихо, мне в затылок:

— Вира.

Я застываю.

— Ты же не должен…

— Знаю. — Голос у него ровный, и я слышу, как за ним поднимается — медленно, как вода в подвале, — что-то очень тяжёлое. — Я просто хотел, чтобы ты знала: я больше тебя не по твоей просьбе держу.

— Что это значит?

— Это значит, — говорит Рэйн Дарроу, — что сегодня ночью Пелена первый раз в жизни назвала меня по имени не моим голосом. Она назвала меня твоим.

Часть II. Три шага
Документ 2. Выписка из журнала спусков

Из книги «Журнал посещений Тихих подвалов», хранится в канцелярии, лист 44 (оборот).

Год не указан (нумерация листов сбита)

3 марта. Спуск: маг. Келпер, два стражника. Цель: осмотр креплений. Время: 40 мин.

19 марта. Спуск: маг. Келпер, два стражника. Цель: осмотр креплений. Время: 35 мин.

7 апреля. Спуск: маг. Келпер, лекарь, два стражника. Цель: якорь №2 (Этта), состояние. Время: 1 ч 10 мин. Исход: якорь №2 переведён.

12 апреля. Спуск: маг. Келпер, писарь. Цель: подписание согласия. Время: 15 мин.

30 апреля. Спуск: — (нет). Отметка: подвал закрыт по распоряжению Совета на время проверки.

8 мая. Спуск: маг. Келпер, писарь, лекарь. Цель: якорь №3 (Клён), состояние. Время: 2 ч. Исход: смерть.

9 мая. Спуск: —

10 мая. Спуск: —

Далее в журнале идут двадцать два года сплошных прочерков: подвал посещали только смены караула, и их подписи ставились не в графе «спуск», а в отдельной ведомости, которая, по описи, «утрачена при пожаре в канцелярии».

Последняя запись сделана задним числом и другими чернилами:

17-е (месяц не указан). Спуск: маг. Калтер, лично. Цель: приказ. Время: 9 мин.

Глава 12. Учиться по-настоящему

Наставница по цепям оказывается женщиной лет шестидесяти, у которой вместо левой руки — протез из чёрного стекла, а вместо приветствия — вопрос:

— Что держит Тихих?

— Якорь, — говорю я.

— Неправильно.

Она бросает мне моток верёвки. Верёвка тяжёлая, просмолённая, с узлами через каждые полметра.

— Это держит верёвка, — говорит она. — А Тихих держит привычка. Запомни, девочка, и не путай: якорь — не сила. Якорь — расписание.

Её зовут магистр Ольда, и о ней в академии рассказывают три вещи. Что она единственная, кто пережил три смены на седьмом посту. Что она потеряла руку, закрывая чужое окно. И что она не берёт в ученики никого, кроме третьего курса, а из третьего курса к ней ходят четверо.

— Почему я? — спрашиваю я.

— Потому что Совет велел. — Она отбирает у меня верёвку и начинает наматывать на протез. — И потому что ты живая. У меня за двадцать лет в учениках были три мертвеца и один предатель. Живая — это уже повышение.

Класс, где она ведёт занятия, — это не класс. Это внутренность колокольни: круглый каменный зал, стены в потёках, и на полу мелом вычерчен круг, который запрещено стирать.

— Встань в круг, — говорит Ольда. — Теперь возьми верёвку за конец. Теперь я буду тянуть. Твоя задача — не упасть.

Я не падаю первые три секунды.

Потом падаю очень сильно.

— Хорошо, — говорит Ольда, ничуть не расстроившись. — Первый раз все падают. Слушай теперь главное, потому что второй раз я объяснять не буду.

Она садится на каменную ступень, кладёт протез на колено и говорит — ровно, как читают список покупок.

Тихий не может выйти за пределы, которые ему обозначили. Не потому, что стены крепкие: стены в Вейле держат людей, а не чудовищ. Тихий не выходит потому, что помнит, где граница. А помнит он её благодаря повторению. Одна и та же комната. Одно и то же лицо. Один и тот же голос в одно и то же время. И всё это вместе называется не «любовь», не «преданность» и не «печать», а самым скучным словом в языке: распорядок.

— Якорь — не кандалы, — говорит Ольда. — Якорь — это человек, который каждое утро приходит с подносом. Ты можешь быть ему врагом, можешь быть ему никем, он всё равно будет тебя ждать, потому что ты — та часть мира, которая случается регулярно.

— А если я не приду?

— Один раз?

— Ну да.

— Ничего. — Она щёлкает протезом по ступени. — Первый раз — ничего. Третий раз — он начнёт к тебе прислушиваться. Десятый — пойдёт искать, а это, девочка, уже не расписание. Это голод, который научился ходить.

Я вспоминаю, что в первый вечер опоздала на четыре минуты, и у меня становится жарко под мантией.

— Магистр, а почему тогда якоря умирают?

Ольда долго смотрит на меня единственным глазом. Потом говорит:

— Потому что распорядок — это скука. А скука — то, чего Пелена не умеет. Она не умеет ждать одно и то же, она вся состоит из «а что если». — Она подаётся вперёд. — Твой Тихий скучает по тебе, когда тебя нет. Не потому, что любит тебя. Потому что он двести лет не видел ничего, кроме серого луча и восьми имён на стене. Запомни это как первую заповедь и не перепутай никогда: то, что он к тебе чувствует, называется не чувство. Называется голод.

— А если это всё-таки чувство?

Ольда смотрит на свой протез.

— Тогда, — говорит она, — вы оба покойники, и это, к сожалению, самый частый случай в моей практике. — Она встаёт. — Всё. Ты мне надоела. Иди на обед, у тебя руки трясутся, как у пьяной.

Я уже у двери, когда она говорит мне в спину, без всякого перехода:

— Соль. У тебя глаза на месте?

— Что?

— Глаза. — Она подходит близко, впервые за всё занятие, и смотрит на меня снизу вверх, потому что она мне по плечо. — Когда ты смотришь на него, ты видишь его? Или видишь то, чего в комнате нет?

Я не отвечаю.

— Понятно, — говорит Ольда. — Второй урок, бесплатно. Пелена всегда начинается с того, что человек начинает нравиться больше, чем комната. Держись комнаты, девочка. Комната скучная. Комната настоящая.

В коридоре меня ждут.

Не Эдвин Кейл — на этот раз пятеро послушниц третьего курса, и у них у всех чёрные нити на мантиях, и они стоят так, как стоят люди, которые очень долго репетировали.

— Ты — та самая, — говорит высокая. — Которая держит Дарроу.

— Я та самая, — говорю я. — Которая идёт обедать.

— Мой якорь был на четвёртом участке, — говорит высокая. — Её звали Хельга. Она умерла в мае. Открыла окно.

— Мне жаль.

— Тебе жаль. — Она делает шаг. — Ты понимаешь, что нам всем теперь говорят твоё имя? «Вот, послушница Соль живёт в подвале и держит Тихих». Ты — показатель, Соль. Пока ты жива, Совет может говорить, что якоря не умирают, а ошибаются.

Я смотрю ей в лицо. Она не злая. Она страшная: это лицо человека, который хоронит подругу и хочет понять, за что.

— Я не знаю, чем закончу, — говорю я. — Но если я останусь жива, я приду и скажу, как было. В том числе то, что Хельга не ошибалась.

Высокая молчит.

— Ладно, — говорит она наконец. — Тогда живи.

Они расходятся. И только когда коридор пустеет, я понимаю, что у меня в кармане мантии откуда-то появился кусок сыра, тёплый и завёрнутый в бумагу, — и что высокая не донесла его до столовой.

Глава 13. Первая чаша. Цепи и мел

Кровь в чашу — это не ритуал. Я это подчёркиваю, потому что все потом писали «ритуал».

Ритуал — это когда опускаются на колено, читают по-старинному и говорят слова. Кровь берут иначе: садятся на табурет, кладут руку на стол и режут.

Мне показала Ольда, на четвёртой неделе, в караулке, при двух свидетелях.

— Смотри. — Она достала из ящика нож, короткий, с деревянной ручкой, и потёрла его о фартук. — Не режь подушечки: там нервы, и потом ты три недели не сможешь держать ложку. Режь у большого пальца, вот здесь, где кожа толстая. Один раз, в длину, неглубоко.

— А если глубоко?

— Тогда будет много крови и мало толку, — сказала она. — В чашу нужно шесть капель. Не унций, не «сколько выйдет». Шесть капель.

Она сделала это сама, на себе, чтобы я видела. Кровь была тёмная и шла медленно, и Ольда считала вслух: «одна, две, три…».

— Теперь ты.

Я взяла нож, и это оказалось не страшно, а просто очень обыкновенно: нож, холод, палец, стол.

Я думала, что будет больно. Больно было потом, вечером, когда всё уже кончилось и я мыла посуду.

— Сколько?

— Пять.

— Значит, снова.

Я резала второй раз, в том же месте, и стало легче.

Вот что про это надо знать, и этого никто не понимает: резать себя в одном месте каждый день — это ремесло. Через месяц я делала это за две секунды, не глядя, и в канцелярии мне поставили в лист отметку «пригодна к самостоятельному снятию крови».

Дарроу пил из чаши, стоя на коленях.

Он никогда не говорил об этом. Он вообще говорил мало в те недели. Но я стояла в трёх шагах, и я видела, как у него меняется лицо, когда он берёт чашу, — не голод, а что-то похожее на стыд.

Однажды я спросила:

— Почему ты всегда на колени?

— Потому что иначе неудобно чаша.

— Неудобно вставать?

— Неудобно, — сказал он, — когда за тобой помнят, что ты пил.

Ольда потом сказала мне, что колени — это правило самого Дарроу, и что до него Тихие пили стоя, а пили из рук.

— Из рук?

— Якорь подходил и держал чашу у лица, — сказала Ольда. — Это быстрее и требует меньше посуды. Мы это отменили в шестьдесят втором.

— Почему?

— Потому что якорь, который держит чашу у лица, однажды не отойдёт на три шага, — сказала Ольда. — Никто из них не отойдёт. Это не свойство Тихих, это свойство людей: если ты держишь руку у чужого лица и ничего не случается, ты начинаешь считать, что ничего не случится вообще.

Через год, в подвале, когда всё уже стало другим, я попробовала сделать иначе.

— Дай я подержу, — сказала я.

Он посмотрел на меня.

— Нет.

— Почему?

— Потому что три шага, — сказал он. — Пока ты сидишь на табурете и держишь мне чашу, ты в одном шаге. Запомни это, Соль, я говорю серьёзно. Неважно, что я умею себя держать. Правило существует не для меня. Оно существует для того дня, когда я не смогу.

Тогда я подумала, что он боится.

Теперь я думаю, что он был единственный в этой истории, кто в первую неделю понимал, чем всё кончится.

* * *

Схема Пелены занимает всю доску западной аудитории.

Я стираю её локтем у правого края, чтобы влезло последнее, и пересыпаю мел в горсть, как сеятель, потому что мела на весь рисунок не хватает.

Мне выдали допуск на третий курс — «по ходатайству Совета», с припиской мелким шрифтом «под наблюдением, без права сдавать». Наблюдает Тайра, которая сидит на подоконнике и делает вид, что читает. У неё книжка вверх ногами — она в курсе, и я в курсе, что она в курсе.

Третий курс — восемнадцать человек. Первые пять минут они смотрят на меня так, как смотрят на человека, который зашёл в баню в пальто. Потом начинается.

Наставник по структуре Пелены — сухой человек с лицом, как сложенный лист. Он объясняет, как поток входит в стену.

— Перпендикулярно, — говорит он. — Всегда перпендикулярно. Пелена не умеет заходить сбоку: у неё нет боков, у неё есть только сила и преграда.

Я смотрю на доску и понимаю, что всё неправильно.

— Послушница Соль.

— Что?

— Вы поднимаете руку уже минуту. — Наставник говорит ровно, но на нас уже обернулось пол-аудитории. — Любопытно. Что вы хотите сказать?

— Что поток входит наискось, — говорю я.

Тишина.

— Объяснитесь.

— В подвале, — говорю я. — У нас в подвале окно под самым потолком, и по нему видно, куда упирается Пелена. Она не входит в пол прямо. Она идёт под углом и упирается в угол, где выцарапаны имена. Если бы она входила перпендикулярно, она бы била в пол в центре комнаты, а там холодно.

Наставник смотрит на меня долго.

— Ваше наблюдение, — говорит он наконец, — относится к конкретному подвалу, а не к теории.

— Она упирается в имена, — говорю я. — Не в пол. В имена.

Аудитория молчит. Но краем глаза я вижу, как один парень на заднем ряду — тот самый, с пятого курса, которого все зовут Счётчик, — начинает мелко и быстро перерисовывать с доски в тетрадь.

— Сдайте работу, — говорит наставник.

Дальше — самое странное. Он вызывает меня к доске после занятия, и мы вдвоём, не сговариваясь, начинаем чертить заново: он с одного края, я с другого. Через час на доске получается не схема, а карта: куда входит Пелена, где она упирается, где ещё в Вейле есть места с именами.

— Тридцать семь, — говорит он, отойдя. — Тридцать семь углов, где она упирается не в стену, а в текст. — Он смотрит на меня. — Вы понимаете, что вы сейчас нарисовали?

— Понимаю, — говорю я. — Что кто-то очень давно неверно нарисовал угол, и потом двести лет лечил симптомы.

— Нет. — Он стирает мел о тряпку. — Вы нарисовали, что Пелена читает. Каждый угол, в котором есть имена, она читает. И, судя по схеме, детвора, она читает их давно.

Он уходит.

Я остаюсь с Тайрой и картой.

— Тут ошибка, — говорит Тайра, спрыгивая с подоконника. Она тычет в правый угол. — Смотри: у тебя поток входит в стену под углом, а на схеме у Кейрен — перпендикулярно.

— Перпендикулярно — как в учебнике.

— А в подвале у тебя как? — спрашивает она.

Я замираю.

— Наискось, — говорю я.

Тайра кивает, словно ждала.

— Значит, не ошибка.

Я перерисовываю схему от руки и несу Кейрен. Она смотрит долго, потом говорит ровно:

— У вас талант к геометрии, послушница.

— Это не геометрия. Это подвал.

— Это геометрия, — повторяет она, и я впервые вижу, как она злится: у неё белеют пальцы на столе. — Если в схеме Келпера угол был не тот, то двенадцать выпускниц стояли на весах не там, где надо, и вся теория Прохода — мусор. Вы понимаете, что вы нарисовали?

— Понимаю, — говорю я. — Что кто-то очень давно ошибся в одном угле.

Кейрен встаёт, подходит к окну и стоит к нему спиной.

— Идите, — говорит она наконец. — И никому эту схему не показывайте.

Я уже на пороге, когда она добавляет, очень тихо, будто себе:

— Или покажите. Всем.

Документ 3. Страница учебника

Из «Основ структуры Пелены», издание для 2-го курса, страница 61. Книга выдана 3-му курсу. На полях — пометки разными чернилами, не менее чем шестью читателями.

§ 14. О форме и её отсутствии

Пелена не имеет тела, места и воли в юридическом смысле. Пелена есть среда, обладающая свойством проникновения. Всякая граница, сквозь которую она может пройти, есть не препятствие, а приглашение.

§ 14.1. Поток Пелены распространяется прямоперпендикулярно и не обнаруживает влечения к обходам.

§ 14.2. Механическое препятствие (камень, металл, стекло) в пределах прочности задерживает Пелену. Длительное наблюдение за препятствием со стороны одарённых не влияет на его прочность.

§ 14.3. Сдерживание Пелены достигается присутствием Тихих, чей приказ исходит от якоря. Якорь есть сосуд отсутствия. Использование сосуда дважды не допускается.

На полях, чернилами 1:

«прямоперпендикулярно» — проверить на подвале у К.? Там бьёт в угол.

Чернилами 2:

Проверил. Бьёт в угол. Спросить у Е.

Чернилами 3 (женский, торопливый):

Спросила у Е. Е. сказал: учебник писал человек, который видел Пелену два раза в жизни. Правило про перпендикуляр оставить, чтобы не сдавать вторую треть.

Чернилами 1:

14.3 — «сосуд отсутствия» — это не про человека. Читайте внимательно: сосуд отсутствия = тара для пустоты. К этому же вопрос — а если в пустоту что-нибудь положат?

Чернилами 4 (синие, канцелярские):

Замечание к § 14.3 снято по распоряжению канцелярии как «не имеющее методической ценности».

Чернилами 1:

Ну и отлично.

Чернилами 5 (карандаш, детский):

К. плохо. Кто читает учебник после меня — пишите на полях, так понятнее.

Глава 14. Ночной звон. Провиант

Четвёртое правило на стене — «Если он перестал дышать — не паникуй. Сосчитай до сорока. Это она» — я считала дважды.

В первый раз хватило двадцати восьми.

Сегодня я на тридцать седьмом понимаю, что дело плохо.

Его грудная клетка стоит. Стоит, как на полке чайник. Цепи на шее не двигаются. Рука на колене не дрожит. И серое пятно на его ладони — то, которое в третью ночь осталось после окна, — расползается вверх, к запястью, к локтю, иней по стеклу.

Тридцать восемь.

Я знаю, что делать: считать. Ольда учила: если твой Тихий перестаёт дышать, это не он, это она; считай до сорока и не подходи.

Тридцать девять.

Сорок.

Ничего.

Я не помню, как встала. Помню, что стою уже не на кровати, а на полу, в двух шагах, с колотящимся сердцем, и что два шага — это уже не правило, а расстояние, на котором можно дотянуться.

— Дарроу.

Тишина. В комнате так тихо, что я слышу, как в дальней башне перекликаются сторожа.

И вот тогда я делаю то, чего нельзя. Я делаю третий шаг.

Не для того, чтобы коснуться. Я не касаюсь. Я становлюсь на третьем шаге — там, где по всем правилам уже поздно, — и говорю его имя, как говорят вещи в комнате, как учила Ольда, ровным голосом, без пафоса:

— Рэйн Дарроу. Ты здесь. Я тебя вижу.

Его выгибает.

Цепи натягиваются так, что пол идёт трещиной — от кровати к окну, ровно через середину, где стёрты имена. Он выдыхает весь воздух одним разом, и в комнате становится темно, хоть свеча и не гаснет: тьма просто приходит, как гость.

— Ты, — говорит он чужим голосом, низким, будто в его горло вставили второй, — меня позвал.

— Я тебя разбудила.

— Ты меня позвал, — повторяет он, и я вижу, как серое отступает от локтя вниз, к ладони, послушно, как вода в наклонённой чашке. — Не делай так больше.

— Ты не дышал.

— Я всегда не дышу, когда она рядом. — Он садится. Цепи лязгают, и звук у них теперь другой: не цепь, а цепочка. — Раньше это никого не трогало.

— А теперь?

— А теперь, — говорит он, — я знаю, что меня разбудят. Это, Соль, самое глупое, что можно дать Тихий.

Я стою на третьем шаге. Уходить я не собираюсь — и он это видит.

— Не подходи, — говорит он без нажима.

— Я не подхожу.

— Ты стоишь на третьем.

— Я стою на третьем, — соглашаюсь я. — Потому что на четвёртом я тебя не слышу.

Он поднимает на меня глаза, и в них нет ни насмешки, ни интереса — только усталость человека, который очень давно не слышал ничего человеческого.

— Это хорошая формулировка, — говорит он. — Запомню.

— Не смей.

— Поздно, Соль. — Он отворачивается к стене. — Поздно.

Я возвращаюсь на кровать и сижу, прижавшись спиной к холодной стене, до утра. Он тоже не спит: я слышу, как он дышит. Ровно, медленно, но — дышит. Значит, мы оба сделали по глупости: он перестал быть вещью, к которой приходит поднос, а я перестала быть человеком, который приносит поднос.

К утру я нахожу на стене новую царапину — тонкую, свежую, выведенную прямо под четвёртым правилом:

8. Не ищи дверь, если не собираешься ею пользоваться.

Почерк не похож ни на один из восьми.

* * *

В академии есть человек, от которого зависит, будет ли у тебя завтрак, и зовут его Маддер, и он эконом.

Маддер ведёт три книги. В первой — приход: что привезли, сколько, от кого, с какой печатью. Во второй — расход: что выдано, кому, когда. Третью он не показывает никому, и все знают, что она есть, и никто не спрашивает.

Я попала к нему случайно: Ольда послала меня отнести бумагу про якорное довольствие, потому что сама идти не хотела.

— Соль? — сказал Маддер, не поднимая головы. — Девятая.

— Восьмая, — сказала я.

— Девятая, — сказал он. — Восемь было до тебя. Ты девятая.

Он был прав, и мне стало неприятно не от того, что он прав, а от того, как быстро он это посчитал.

— Присядьте. — Он наконец посмотрел. — Бумага?

Я отдала. Он прочитал, отложил, взял перо.

— Вы, наверное, думаете, что я тут считаю муку.

— Думаю.

— Я считаю не муку, — сказал Маддер. — Муку я знаю наизусть. Я считаю, во что вы обходитесь.

И он открыл вторую книгу, и я увидела страницу, которой не видела никогда, хотя жила ровно в этом здании.

«Содержание помещения № 1 и приписанного лица. Год:

— отопление, дрова, три сажени — четыре рубля десять копеек;

— свечи, восковые, для подвала — семьдесят две свечи — рубль восемьдесят;

— содержание приписанного лица, стол — сорок два рубля в год;

— одежда, две смены — одиннадцать рублей;

— содержание Тихого, стол — сметой не предусмотрено;

— всего — пятьдесят восемь рублей девяносто копеек».

Я стояла и смотрела на эти строки.

— Почему свечи дороже меня?

— Дешевле, — сказал Маддер. — Свечи рубль восемьдесят. Вы — сорок два. Это я ещё считаю по норме столовой, а не по вашей прожорливости.

— Я не прожорливая.

— Вы девятая, — сказал он. — Восемь до вас тоже были не прожорливые, а по смете выходит одно и то же, потому что смета не про вас, а про норму. Норма — сорок два.

Я спросила то, о чём не спрашивал никто.

— А почему «содержание Тихого, стол — сметой не предусмотрено»?

Маддер отложил перо.

— Потому что он не ест, — сказал он. — Формально. В смете нет графы «голод», есть графа «стол». Он не ест за столом. Он берёт кровь. Кровь в смете идёт по госпитальной части, а не по моей, и я её не считаю, потому что не имею права.

— А кто считает?

— Никто, — сказал Маддер. — Кровь — не товар. Её нельзя посчитать, потому что если посчитать, придётся поставить цену, а у нас нет графы.

Он помолчал и добавил:

— Я вам вот что скажу, девочка, и вы потом вспомните. В Вейле всё упирается не в Пелену. Пелена — она есть, и с ней всё понятно. Всё упирается в смету. Стена держится не на вере, а на том, что в год на неё отпускают восемь тысяч четыреста рублей, и если отпустят семь, то стена не сдаст — стена будет тоньше.

— Насколько тоньше?

— На одну смену в четыре дня, — сказал Маддер. — На одну смену в четыре дня — это в год триста шестьдесят пять окон, которые никто не встретит, потому что людей в это время нет на посту. А сколько из этих окон окажутся открытыми по-настоящему, я вам не скажу, потому что это никто никогда не считал.

Я потом спрашивала — а правда никто? Спрашивала Ольгерта, спрашивала Ольду, спрашивала даже Келпера.

Ольгерт сказал: «Считали. В шестьдесят третьем. Насчитали, что если убрать смену, за год случится на два окна больше. Совет сказал: два окна — это ничего. А в шестьдесят третьем году со стены упали двое, и это тоже было „ничего“».

Келпер сказал: «Вопрос праздный». Ольда сказала: «Не задавай такие вопросы, тебе потом с этим жить».

А Маддер, когда я уходила, вытащил из ящика маленький свёрток.

— Это что?

— Соль, — сказал он. — На кухне кончилась. Скажешь Лоре: из неприкосновенного, по графе «соль, столовая, на нужды кухни».

— А есть неприкосновенный?

— Есть, — сказал Маддер. — Каждый год кладу на случай, если зима будет хуже, чем в смете. Четыре раза за сорок лет пригодился. — Он посмотрел на меня. — Пять.

Я ушла с солью в кармане и с мыслью, которая потом очень пригодилась: вся эта крепость, все три шага, все правила, написанные на стене, — всё это на самом деле стоит пятьдесят восемь рублей девяносто копеек в год и ещё немного соли из неприкосновенного.

Между главами. Столовая

В столовой Тихих послушниц кормят по-разному, и это видно по подносам.

У первого курса каша, у второго — каша и что-то к каше, у третьего — то же самое, но с подоконника на столах, потому что третий курс съедает всё до конца. У якорей — отдельный стол у окна. На этом столе всегда стоит лишняя порция хлеба, и никто никогда не выяснил, кто её ставит: каждая смена считает, что это делает другая.

Я сижу за столом для якорей третий день, и за третьи сутки узнаю всё, что в академии думают о том, что происходит в подвале.

— Спорят, — говорит девочка с косой, Лора, — пока не решают: каша стынет.

— На что спорили?

— На то, бывает ли у Тихих жена.

Все замирают.

— Бывает, — говорит кто-то. — Только она не жена, она якорь. Разница в том, что твой Тихий тебя не бьёт, а просто смотрит, как ты стареешь, и ничего не изменится.

— А если он к тебе привыкнет?

— Он и так привыкнет. — Лора режет хлеб. — Вопрос в том, что ты с этим сделаешь: станешь нужной или станешь картой.

— Картой?

— Тихие устраивают закладки. В Вейле женщины, которые были якорями и выжили, идут в канцелярию или в архив. Их берут, потому что они «читают расписание». — Она смотрит на меня. — Ты вообще резала когда-нибудь хлеб на четверых?

— Да.

— Покажи. — Она кладёт ломоть и отступает, как на экзамене.

Я режу. Получается ровно, потому что в приграничье резали всегда на четверых, даже когда четверых не было.

— Пойдёт, — говорит Лора. — Теперь главное. Никогда не ставь одну тарелку рядом с другой. Если они стоят рядом, кто-то решит, что их две.

К вечеру я знаю ещё две вещи, которых не знала утром: каша у первого курса называется «пепел», потому что её варят из чего-то серого, и что на самом деле думают о подвале.

«Держится или нет» — так это называется. Не «жива ли», не «справится ли». «Держится ли». Как про сарай.

— А сколько, — спрашивает девчонка с дальнего конца, — сколько она держится?

Лора отвечает, не глядя на меня:

— Десять дней и три часа.

— Откуда точно?

— Потому что вчера ночью он перестал дышать, — говорит Лора. — Об этом знает вся кухня. На кухне у нас четыре Тихих и ни одного якоря, мы слышим, когда они останавливаются.

На меня все смотрят.

— Он не перестал, — говорит Лора мне, и в её голосе нет насмешки, только хозяйственная строгость. — Он приостановился. Я тебе так скажу, девочка, раз уж это я тебя кормлю: у тебя хороший Тихий. Плохие не приостанавливаются.

— Как его понять?

— Не ешь, когда он стоит, — говорит Лора. — Если он стоит, он слушает не тебя, а сквозь тебя. И не пей на ночь — у тебя сердце, а Пелена это слышит.

Она забирает мой поднос и вытирает стол так, как вытирают в казармах: одной строчкой, от края до края.

— И ещё, — говорит она уже из-за прилавка. — Ты бы хлеб не резала по утрам.

— Почему?

— Потому что первые полгода якорям нельзя резать. — Она смотрит на меня ровно. — Рука режет и потом думает. А думать на кухне надо наоборот.

Глава 15. Гвозди. Тайра врёт

Тайра Кейл пришла в Орден в четырнадцать лет, и пришла не по набору.

Её отец держал гвозди — не лавку, а именно гвозди: скупал у трёх кузниц и продавал в розницу по всему торговому кварталу. Дело было маленькое, крепкое и очень скучное, и Тайра с восьми лет сидела в подсобке и считала: двадцатка, сороковка, сотка, костыль, обойный.

— Я знала гвозди лучше, чем людей, — сказала она мне. — До четырнадцати лет.

Она рассказывала это неохотно, в сарае, за шитьём, и я не перебивала.

В тот год к отцу пришёл человек и предложил поставку на стену: гвозди для обшивки, четыреста штук в месяц, казённый заказ. Отец обрадовался. Заказ был большой, и он вложил в него всё, что было, и ещё занял.

— А потом, — сказала Тайра, — я стояла за перегородкой и слышала, как этот человек говорит отцу: «Ты не волнуйся, деньги будут в четверг».

— И что?

— И я поняла, что он врёт. — Она откусила нитку. — Понимаешь? Я стояла и слышала обыкновенные слова. «Ты не волнуйся», «деньги будут в четверг». И я знала, что это ложь, как знаешь, что молоко прокисло, — по запаху.

— Как ты поняла?

— Не знаю, — сказала Тайра. — Я потом всю жизнь пыталась понять. Это как когда человек говорит на одном языке, а внутри у него щелчок. Не в словах дело. В промежутке между словами.

Она вышла к отцу и сказала: «Папа, он врёт».

Отец рассердился — не сильно, скорее смутился, — и сказал: «Тайра, иди в подсобку». А человек засмеялся и сказал: «Хорошая девочка, честная».

Деньги не пришли ни в четверг, ни через четверг. Отец закрыл дело и три года выплачивал долг, и в тот год у них не было ни мяса, ни дров, и мать Тайры умерла оттого, что зимой нечем было топить.

— Нет, — сказала Тайра, когда я спросила. — Не от холода. От того, что она не хотела больше жить в доме, где всё считается. Это разные вещи.

Келпер пришёл к ним через год.

Он пришёл не как магистр — в обычном сюртуке, с папкой, — и попросил Тайру выйти во двор.

— Он сказал мне: «Я слышал, ты умеешь отличать ложь». Я сказала: «Умею». Он сказал: «Скажи мне, что я сейчас соврал». И соврал — про погоду, про то, что дождь будет к вечеру.

— И ты сказала?

— Я сказала: «Дождя не будет». — Тайра усмехнулась. — И попала. Дождя действительно не было. Он тогда посмотрел на меня и сказал фразу, из-за которой я здесь: «Девочка, это не дар. Это работа. Дары бывают у тех, кто стоит на стене. А это ремесло, и ему учат».

— И ты пошла.

— Я пошла, потому что у отца был долг, — сказала Тайра. — Орден предложил за меня триста рублей. Отец отказался. Он сказал: «Я лучше буду платить до смерти». — Она помолчала. — А я подписала сама. В пятнадцать лет, в канцелярии, у окна три. Мне не сказали, что для этого нужно восемнадцать.

Она положила шитьё.

— Хочешь знать самое смешное? Я тогда думала, что спасаю отца. А теперь думаю, что я хотела, чтобы моё умение было кому-то нужно. — Она посмотрела на меня. — Вот в чём разница между нами, Вира. Тебя сдали за долг. А я продалась сама, за то, чтобы мне сказали «молодец».

— Ты не…

— Не надо, — сказала Тайра. — Не утешай. Мне двадцать два, я умею считать, и я всё про себя знаю.

Я тогда спросила:

— А почему ты потом не ушла? Когда выросла, когда отец расплатился?

— Потому что это единственное, что я умею, — сказала Тайра. — Меня не учили ничему другому. Я не умею шить, не умею считать гвозди, я умею только слушать, когда человек врёт, и говорить об этом тому, кому это нужно. Если я уйду, я буду сидеть дома и слушать, как врёт соседка, и это сведёт меня с ума за год.

Она встала.

— И ещё. Мне нравится. — Она сказала это спокойно и прямо. — Мне нравится ловить. Когда человек врёт и думает, что его не видно, а ты видишь, — это как поймать за руку в темноте. Мне это нравится, и я давно перестала делать вид, что нет.

Я потом долго думала о том, что она сказала.

Вот в чём была правда, которую я узнала в тот вечер в сарае: Орден не ломает людей. Орден находит в них то, что уже есть, и находит этому применение. Тайре нужно было быть нужной. Ольде — быть правой. Кейрен — держать. Калтеру — чтобы всё работало. Мне — держаться за людей.

И из этого набора получается город, который стоит двести лет.

* * *

Тайра врёт в четверг, на четвёртом часу послеобеденных занятий, и врёт так, что я слышу это даже не ушами, а кожей.

— Тебя вызывают в канцелярию, — говорит она ровно. — Просили передать.

— Что-то случилось?

— Ничего.

Она говорит ровнее, чем всегда, и не моргает. У Тайры круглое лицо, которое приспособлено для улыбок, и когда она врёт, оно каменеет, как пудинг.

— Ладно, — говорю я. — А теперь скажи, что на самом деле.

Она моргает.

— Что?

— Ты не умеешь, — говорю я. — Ты слышишь любую ложь на сто шагов, а сама врёшь как доска.

Мы сидим в пустом классе, за окнами — серая стена, по стене идёт караул. Тайра смотрит на меня долго, потом встаёт и закрывает дверь.

— Мой брат, — говорит она.

— Кейл. — Я сажусь на стол. — Я знаю. Вы не похожи.

— Мы похожи, — говорит она. — Похожи тем, что оба здесь за счёт семьи. Наш отец платит Ордену девять лет. Не взятками — поставками: рыба, верёвки, гвозди. Очень удобно, потому что это и не взятка вовсе. — Она щиплет рукав. — А в четверг к нему приходил человек из Совета и спрашивал, не может ли моя подруга…

— Какая подруга.

— Ты, — говорит Тайра. — Не может ли моя подруга якорь записывать, во сколько она спускается и как долго они разговаривают.

Я молчу.

— И ты записывала.

— Дважды, — говорит она и наконец смотрит мне в глаза. — Первый раз — когда он перестал дышать. Я написала: «Ночь, кризис, якорь спустился, утром состояние обычное». Второй раз — когда ты ходила за водой и пропала на час. Я написала: «Ходила к колодцу».

— Тайра, он не дышал в другую ночь.

— Какая разница, — говорит она. — Я пишу им то, что не может их заинтересовать. Если я буду писать «здесь спокойно», они перестанут спрашивать.

— А если они догадаются?

— Тогда меня выкинут из академии, — говорит Тайра спокойно. — И мою семью тоже. И знаешь, что самое смешное? Я в этом не уверена, что это плохо.

За окном караул уходит с гребня. Мы сидим в классе и молчим так долго, что потом за нами приходит старик-сторож.

Она первой вытягивает руку и отламывает от хлеба горбушку — так, как делают в приграничье, — и отдаёт мне.

— Я тебе не рассказала, — говорит она.

— Ты только что рассказала.

— Я рассказала позже, чем надо было. — Она поднимает на меня глаза. — Вира, ты понимаешь, что это одно и то же: я уже на них работаю. Тебе просто досталась версия, которая задерживается.

Я беру горбушку и понимаю, что впервые в жизни кто-то соврал мне так, что я не могу на это злиться.

— Тогда работай, — говорю я. — Говори им правду. Во сколько я спускаюсь, сколько мы разговариваем, сколько раз он не дышал. Пусть думают, что знают.

Тайра смотрит на меня.

— А чего они знать не должны?

— Что он называет меня по имени, — говорю я. — И что я его тоже.

Ночью я нахожу её у стены на лестнице — она не спит, сидит с поджатыми ногами на ступеньке так, как сидят дети на ярмарке, ждущие выступления.

— Я тебе мешаю? — спрашивает она.

— Тебе шестнадцать, — говорю я. — Ты должна спать, а не следить за подвалом.

— Я не слежу за подвалом, — говорит Тайра. — Я слушаю ложь.

— Чью?

— Всех, — говорит она. — И знаешь, что страшнее всего? С тех пор, как ты тут появилась, ложь в академии стало слышно в разы меньше.

— Это хорошо?

Тайра долго молчит.

— Нет, — говорит она. — Это значит, что люди перестали врать. А если люди перестали врать в городе, где есть стена и Совет, значит, им больше нечего скрывать.

Интерлюдия. Тайра

Меня зовут Тайра Кейл, мне шестнадцать, и я слышу ложь.

Это не дар. Дар — это когда ты можешь что-то сделать. Я ничего не могу. Я слышу, как люди врут, и это продолжается уже восемь лет, и за восемь лет я выучила три вещи.

Первая: люди врут почти всегда не для того, чтобы получить. Для того, чтобы не пришлось объяснять.

Вторая: самая громкая ложь в Вейле — это когда человек говорит «я в порядке». Она звучит как обвал.

Третья: ложь у людей из Совета не звучит вообще. У них ничего не звучит — ни правды, ни лжи, будто открываешь рот, а там нет ни голоса, ни ветра. Первый раз я услышала такое в семь лет, когда отец привёл меня на приём к магистру. Я подумала, что оглохла. Потом поняла: это не я оглохла. Это они так разговаривают.

Мой брат Эдвин врёт громко и мелко: про оценки, про то, что он не трогал мою тетрадь, про то, что драка была честной. Он не злой. Он очень хочет быть первым в комнате, где первые уже назначены до того, как он вошёл.

Отец врёт ровно и тепло. У него ложь звучит как хорошая погода: «всё будет хорошо, дочь», «это ненадолго», «мы просто поставляем гвозди».

А Вира не врёт почти никогда. Это, кстати, ужасно неудобно: когда рядом с тобой человек, который говорит правду, слышно, сколько всего вокруг держится на вранье. Стены. Расписание. Протокол. Всё.

Впервые я соврала в четверг, на четвёртом часу, когда писала в канцелярию: «Ходила к колодцу». Это было даже не враньё, а, скажем так, редактура. Я сидела над листом и думала: вот я сейчас напишу правду, и человек, который спускается в подвал к чудовищу, чтобы меня не выкинули, — из-за меня не спустится.

Я написала «к колодцу».

И знаете, что самое интересное? Я в тот момент ничего не почувствовала. Никакого звука. Никакого обвала. Я вру и не слышу своей лжи.

Вот что я поняла в тот вечер, и никому не рассказывала, потому что это слишком стыдно: ложь слышно только чужим ухом. Своя — просто решение.

Глава 16. Смена. Первое окно

Стена принимает смену в шесть утра, и это единственное, что в Вейле происходит точно.

Вейт приходит первым, потому что у него правило: приходить за десять минут. Он садится на каменную ступень у ворот, достаёт из-за пазухи хлеб и ест его медленно, глядя в Пелену. Пелена в шесть утра серая и ровная, как остывшая каша, и на неё можно смотреть.

— Раньше всех, — говорит Джен, подходя.

— Привычка.

— Привычка — это когда не думаешь. Ты думаешь.

— Я думаю, успею ли я до мороза поесть, — говорит Вейт. — Всё.

Смена — это четыре человека и одно ведро угля на всех. Пель, самый молодой, таскает уголь; Хольт смотрит; Джен стоит у восточного зуба; Вейт обходит гребень.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.